

МЭРИ ЭЛИЗАБЕТ БРЭДДОН

ЛЕДЯНЫЕ ОБЪЯТИЯ



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА*

УДК 821.111-32
ББК 84(4Вел)-44
Б89

Серия «Эксклюзивная классика»

Mary Elizabeth Braddon
THE COLD EMBRACE

Перевод с английского Ю. Фокиной, Е. Ильиной

Серийное оформление А. Фереза, Е. Ферез

Дизайн обложки В. Воронина

Брэддон, Мэри Элизабет.

Б89 Ледяные объятия : [сборник рассказов] /
Мэри Элизабет Брэддон ; [перевод с английского
Ю. Фокиной, Е. Ильиной]. — Москва : Издатель-
ство ACT, 2025. — 576 с. — (Эксклюзивная клас-
сика).

ISBN 978-5-17-170127-7

Уехав на заработки в далекую Италию, молодой и честолюбивый художник быстро забывает оставшуюся дома возлюбленную Гертруду. Между тем отец девушки намеревается выдать ее замуж за богатого ухажера. Отчаявшись дождаться художника и стремясь избежать ненавистного жениха, Гертруда в отчаянии бросается в пруд. Но ее дух возвращается с того света — в надежде в последний раз заключить любимого в свои ледяные объятия...

В этот сборник вошли восемнадцать мистических рассказов, на страницах которых нашлось место и классическим историям с привидениями, и повествованиям о мести с того света, и встречам со злом, которое принимает вполне человеческий облик.

УДК 821.111-32
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-17-170127-7

© Перевод Е. Ильина, 2024
© Школа перевода В. Баканова, 2025
© ООО «Издательство ACT», 2025

ЛЕДЯНЫЕ ОБЪЯТИЯ

Он был художник, и то, что случилось с ним, иногда случается с людьми его профессии.

Он был немец, и то, что случилось с ним, иногда случается с людьми его национальности.

Он был молод, хорош собой, прилежен, во-сторжен, беспечен; он смотрел на мир с позиций метафизики, не веровал в Бога, не имел сердца.

И, будучи молодым, видным собой и красно-речивым, он был любим.

Сирота с малых лет, он рос в семье дядюшки Вильгельма, брата покойного отца, а та, что любила его, та, которой он клялся в любви, доводилась ему кузиной и звалась Гертрудой.

Любил ли он ее на самом деле? Безусловно: когда впервые выпалил свою клятву, то была любовь страстная, — но сколь обтрепалась она, сколь умалилась со временем в эгоистичном сердце этого студента! На первой же золотой своей заре, когда он, девятнадцатилетний, приехал к дяде из Антверпена, где учился у великого живописца, когда они с Гертрудой бродили по романтичнейшим окрестностям города и в розовых закатных лучах, и при полной луне, и ясными, исполненными радости утрами, — о, какой это был дивный сон!

Они таились от Вильгельма, который ждал и жаждал для единственной дочери богатого жениха, и эта отцовская амбиция, подобно холодной и мрачной тени, застила мечту влюбленных.

Поэтому они решились на тайную помолвку. И вот он стоит рядом с Гертрудой (а небосвод разделен пополам, ибо солнце собралось умирать, а луна, напротив, только-только выплыла) и надевает кольцо на Гертрудин белый, суженный к ноготочку пальчик — его форма так хорошо изучена им. А кольцо особенное: это массивная золотая змея, которая держит в зубах собственный хвост, — символ вечности. Кольцо носила его мачтушка, он узнал бы его из тысячи. Если бы ему было суждено ослепнуть завтра, он на ощупь безошибочно выбрал бы золотую змейку из россыпи тысячи колец.

Итак, он надевает это кольцо кузине на пальчик, и они клянутся в вечной верности друг другу: в беде и в опасности, в печали и в болезни, в богатстве и в бедности. Что до отца, постепенно он смиряется, ведь они теперь помолвлены и одна только смерть может их разлучить.

Но наш студент — циник, хоть и обожатель всего мистического — уточняет:

— Разве смерть способна разлучить нас? Я вернусь к тебе из могилы, Гертруда. Моя душа придет, чтобы остаться подле моей любимой. А ты — ты, если умрешь первая, уж конечно, восстанешь из сырой земли? Если любишь меня, ты вернешься, и вновь твои восхитительные руки обовьют мою шею, вот как сейчас.

Однако она объясняет ему (причем в ее глубоких синих глазах горит благоговейный свет, какой никогда не зарождался в его глазах), что умершие в мире с Господом счастливы на небеси и не могут вернуться на грешную землю, и только пропаща душа самоубийцы, пред которой ангелы закрывают двери в рай, преследует тех, кто остался жить.

Проходит год после помолвки; Гертруда одинока, ведь жених уехал в Италию, чтобы копировать на заказ шедевры Рафаэля, Тициана и Гвидо Рени во Флорентийской галерее. Он отправился за славой: да, наверное, так, — но от этого не легче, он далеко!

Разумеется, дядя Вильгельм скучает по племяннику, который ему как родной сын, но не видит в Гертрудиной тоске ничего особенного — просто дочке не хватает общества двоюродного брата.

Текут недели и месяцы. Влюбленный пишет к невесте — сначала часто, потом редко, наконец, вовсе перестает писать. Сколько оправданий она ему измыслила! Сколько раз ходила на отдаленный маленький почтамт, куда письма должны поступать с пометкой «до востребования»! Сколько раз надежда сменялась в ней разочарованием!

Сколько раз она отчаявалась лишь для того, чтобы снова надеяться!

Но является настоящий повод для отчаяния, и отвратить его нельзя: на сцену выходит богатый соискатель. Отец непреклонен: она должна выйти замуж, и не когда-нибудь после, а уже 15 июня.

Дата словно выжжена в ее мозгу. Огненные цифры так и пляшут перед глазами.

И будто сами фурии ежеминутно выкрикивают: «Пятнадцатое июня!» — своими визгливыми голосами ей прямо в уши.

Но время пока есть — еще только середина мая; письмо еще может дойти до Флоренции, и он еще может примчаться в Брауншвейг, увезти ее, обвенчаться с ней наперекор отцу — наперекор всему свету.

Однако дни и недели проходят, а он не пишет и не приезжает. Отчаяние, овладевшее ее сердцем, не ослабляет тисков.

Настает 14 июня. В последний раз идет она на почту, в последний раз задает все тот же вопрос и слышит все тот же угрюмый ответ: «Для вас ничего, сударыня». В последний раз — ибо завтра она станет женой другого; отца уговорить так и не удалось, а богатый соискатель, конечно, не станет внимать ее мольбам. Ей не уступят ни денечка, ни даже часа; нынешний вечер один только и остался у нее — нынешний вечер, которым она может распорядиться по своему усмотрению.

И она выбирает другую дорогу — не ту, которая ведет домой. Она спешит переулками городских окраин к уединенному мостику, где он, бывало, глядел вместе с ней, как розовеет, бледнеет и гаснет над рекой закат.

Он возвращается из Флоренции. Он получил ее письмо — закапанное слезами, полное уговоров и отчаяния, — он получил его, но он ее больше не любит. Он околдован молодой флорентийкой, своей натурщицей; она завладела его прихотями, которые заменяют ему сердце, а Гертруда давным-давно забыта. Если сыскался для нее богатый же-

них — это прекрасно, пусть выходит замуж. Так будет лучше ей самой, а ему — тем более. Он не желает связывать себя. У него уже есть вечная невеста, нестареющая любовница — его искусство.

Вот почему он предусмотрительно откладывал поездку в Брауншвейг: хотел подгадать так, чтобы появиться уже после венчания — как раз вовремя, чтобы поздравить новобрачную.

А как же клятвы, как же таинство, как же его собственная уверенность, что даже после смерти возлюбленная обнимет его? Они давно изжиты; глупые мальчишеские мечты, они растаяли навек.

И вот 15 июня он вступает в Брауншвейг, идет по тому самому мостику, на котором она стояла накануне, освещенная звездами, переходит мостик и оказывается у воды; за ним по пятам следует лохматый пес, а его короткая пенковая трубка выпускает в чистое утреннее небо сизые колечки фантастических очертаний. Под мышкой у него альбом для набросков; то и дело какой-нибудь объект завладевает его вниманием — он ведь имеет особое, художественное зрение, — и тогда он останавливается и делает зарисовку. Он изображает то тростники и камни у воды, то утес на противоположном берегу, то ветлы в отдалении. Завершив набросок, он какое-то время им любуется, затем захлопывает альбом, вытряхивает пепел из трубы, закладывает новую порцию табаку, мурлычет припев разудалой застольной песни, кличет собаку, закуривает и продолжает путь. Внезапно он вновь открывает альбом: на сей раз его внимание привлекла группка людей. Что там у них такое? Точно не похороны — ведь никто не одет в черное.

Это не похороны, однако на грубых носилках лежит мертвое тело, покрытое старым парусом, и несут его двое.

Это не похороны, ведь эти двое — простые рыбаки в повседневной одежде.

В сотне ярдов от него рыбаки кладут свою ношу на песок. Один становится в головах, другой — в ногах мертвеца.

Композиция теперь идеальная: художник отступает на два-три шага, выбирает точку обзора и быстрой рукой начинает новый эскиз. Он успевает закончить прежде, чем рыбаки трогаются в путь; ему слышны их голоса, но слов он не может разобрать. Ему любопытно, о чём они говорят. В итоге он подходит к ним.

— У вас тут покойник, не так ли, друзья мои? — спрашивает он.

— Так, час назад река вынесла.

— Утопленник?

— Утопленница. Молоденькая совсем, и уж такая кралечка.

— Все самоубийцы красивы, — резюмирует художник.

Некоторое время он молча курит, размышляя. Мертвое тело так четко очерчено под жесткими складками холщового паруса.

Художник молод, честолюбив, умен; жизнь для него — вечный золотой праздник: ни печали, ни смерти нет места в его судьбе.

Наконец он говорит, что хотел бы зарисовать утопленницу, если она, бедняжка, так хороша собой.

Рыбаки получают по несколько монет и готовы откинуть парус, который скрывает черты покой-

ной, но нет, художник сделает это сам. Он берет край грубой жесткой сырой холстины и приподнимает над лицом. Но чье это лицо?

Это лицо являлось ему, сияющее, в глупых мальчишеских снах; это лицо некогда озаряло дом дяди Вильгельма. Перед ним Гертруда — его кузина, его нареченная невеста!

Одним взглядом он вбирает весь ее облик (тогда как дыхание его замерло) — ее застывшие черты и мраморные руки, скрещенные на холодной груди. Безымянный палец левой руки отяженен кольцом, которое некогда принадлежало его матери. Это золотая змейка, которую он, если бы даже ослеп, на ощупь отличил бы от тысячи других колец.

Однако он гений и метафизик; скорбь — истинная скорбь — не для таких, как он. Его первая мысль — о бегстве. Бежать! Куда угодно, лишь бы подальше от этого проклятого города, от берега этой мерзкой реки; бежать от раскаяния — куда угодно, лишь бы там можно было все забыть.

И вот между ним и городом Брауншвейгом пролегло несколько миль, но он, хоть убей, непомнит, как и когда сумел их преодолеть.

Лохматый пес, вывалив язык, падает к его ногам, и тут-то он осознает, что его силы иссякли, и садится передохнуть. И тогда-то картины, виденные им во время бегства, начинают развертываться перед ним (а в глазах у него рябит), пока не встает этюд: два рыбака и носилки, накрытые парусом. И глаза его саднит в сумерках от этого видения!

Долго, очень долго он сидит на обочине, глядя свою собаку, дымя своей трубкой, вроде бы просто

отдыхая, имея вид, характерный для всякого студента-путешественника, чья совесть ничем не отягощена. На самом деле в это время его воспаленный мозг прокручивает утреннюю сцену со скоростью сто раз в минуту. Но вот наконец он немного успокоился; он пытается подумать о себе — таком, каков он есть, безотносительно к самоубийству кузины.

А безотносительно к сему событию он ровно тот же, что вчера, ничуть не хуже. Его талант при нем; деньги, заработанные во Флоренции, позва-кивают в кошельке; он сам себе господин и волен идти куда пожелает.

Пока он сидит на обочине, пытаясь отделить себя от утренней сцены: пытаясь изгнать из воображения мертвое тело под сырьим холщовым парусом, — пыта-ясь решить, что же делать дальше, куда направиться, чтобы оказаться как можно дальше от Брауншвейга и раскаяния, — с грохотом и звоном на дороге по-является дилижанс. Художник помнит эту колымагу: она курсирует по маршруту Брауншвейг — Ахен.

Он свистит своей собаке, кричит форейтору, чтобы придержал лошадей, и запрыгивает внутрь.

За весь вечер он не произносит ни слова; он молчит и всю долгую ночь, хотя и не смыкает глаз, зато утром, когда просыпаются другие пас-сажиры, вступает в общий разговор. Он сообщает, что он художник, направляется в Кельн, а оттуда в Антверпен, чтобы копировать полотна Рубенса, а также великого Квентина Массейса, которые на-ходятся в музее. После он вспоминал, что речь его была развязна, и смеялся он к месту и не к месту, так что в момент, когда он исторг особенно гром-

кий раскат хохота, один из пассажиров, старше и суровее, чем другие, открыл рядом с ним окно и велел ему высунуть голову. Его лицо обдало свежим ветром, в уши вторгся птичий щебет, перед глазами замелькали поля и пустилась в пляс лента дороги — это он еще помнил. Он помнил также, что в следующую секунду мешком рухнул на пол.

Лихорадка свалила его на шесть долгих недель. Все это время он прикован к постели в гостинице вольного города Ахена.

Он выздоравливает и, сопровождаемый собакой, пешком идет в Кельн. К этому времени он снова прежний. Снова синий дымок из его коротенькой пенковой трубки уплывает кольцами в утреннее небо; снова он мурлычет старинную студенческую застольную песню и снова останавливается там и тут, чтобы осмотреться и сделать набросок.

Он счастлив, и он забыл свою кузину — а значит, вперед, в Кельн.

Это происходит, когда он стоит перед величественным Кельнским собором*; его пес рядом с ним. Уже поздно; колокола только что прозвонили, часы показывают одиннадцать. Луна струит свои лучи на это невероятное сооружение, и глаз художника, скользя по шпилям, витражам и прочему, вбирает совершенство его форм.

О своей кузине утопленнице он вовсе не думает; он забыл ее, он счастлив.

* Занимает третье место в списке самых высоких церквей мира; с ним связано множество легенд, по одной из которых Герхард фон Риле, первый архитектор, заключил сделку с дьяволом, чтобы получить чертежи собора. — Здесь и далее примеч. пер.

Внезапно некто — или нечто — обвивает сзади холодными руками его шею. Пальцы сцепляются на его груди. Однако позади никого нет, и на каменных плитах, залитых лунным светом, всего две тени — его самого и собаки. Он быстро обворачивается: просторная площадь тоже пуста. И он не видит этих ледяных рук, обвивших ему шею, только чувствует их.

Объятие не призрачно, ибо он нащупывает эти руки, но и не реально, ибо руки невидимы.

Ему не нужна эта ледяная ласка; он хочет высвободиться и хватает руки; сейчас он их расцепит, сбросит со своей шеи. Пальцы длинны, тонки и холодно-влажны, а на безымянном пальце левой руки он обнаруживает матушкино кольцо — золотую змейку, — то самое, о котором всегда говорил, что не глядя узнает его из тысячи. И вот он его узнал!

Холодные руки мертвой кузины обняли его за шею — влажные пальцы сцепились у него на груди. Он спрашивает себя, уж не рехнулся ли.

— Ко мне, Лео! — командует он собаке. — Ко мне, малыш!

Ньюфаундленд, встав на задние лапы, передние кладет хозяину на плечи, но под лапами — мертвые руки, и Лео исторгает жуткий вой и отскакивает от хозяина.

Так студент и стоит: в лунном свете, в ледяных объятиях, — а поодаль от него жалобно скулит собака.

В конце концов сторож, всполошенный собачьим воем, выходит поглядеть, где на площади непорядок, и тотчас ледяные руки исчезают.

Студент ведет сторожа к себе в гостиничный номер, одаряет деньгами; он так благодарен ему, что готов отдать половину своего скромного капитала.

Повторится ли объятие утопленницы — вот о чем его мысли.

Отныне он старается не оставаться в одиночестве: заводит сотню знакомств, делит комнату с товарищем-студентом. Если вдруг пустеет общая комната гостиницы, он выбегает на улицу. Его странное поведение замечено; в нем начинают подозревать безумца.

Но, несмотря на все усилия, он еще раз остается один. Из общей комнаты все куда-то подевались, и он под нелепым предлогом спешит выйти на улицу, но и улица пустынна, и вот вторично он чувствует, как на его шее смыкаются холодные руки, и вторично на его зов ньюфаундленд Лео пятится с жалобным подыванием.

После этого случая он покидает Кельн — вновь пешком, теперь уже потому, что вынужден экономить. Он прибивается к бродячим лоточникам, шагает бок о бок с поденщиками, заговаривает с каждым путником, которого посыпает ему дорога, и с утра до ночи старается быть среди людей.

Ночует он в кухнях постоянных дворов, устраивается возле очага, и все равно он часто совсем один, и даже почти привык к ледяным объятиям.

Много месяцев минуло со смерти его кузины: позади и осень, и зима; вновь наступила весна. Деньги у него на исходе, здоровье расшатано; он — тень себя прежнего. Он скоро будет в Париже. Он успеет как раз к карнавалу. О, как он спешит! Па-

риж во время карнавала — вот где он ни на миг не останется один, не претерпит ласку утопленницы; как знать: может, он обретет былую веселость, здоровье его поправится, он вернется к живописи, заработает известность и деньги своим искусством.

Как тяжко ему дается преодоление последнего отрезка пути, ведь день ото дня он слабеет, он буквально еле передвигает ноги!

Но все когда-нибудь кончается; кончилась и дорога — долгая унылая дорога. Перед ним Париж, и он впервые вступает в этот город, о котором столько мечтал; в город, который миллионом своих голосов изгонит фантома.

В этот вечер Париж для него — скопление огней и звуков, и он растерян. Огни пляшут перед глазами, ни на миг не замирая, оглушительная музыка бьет по ушам, а голова будто сама собой поворачивается направо и налево, ибо он не в силах разобраться в этом хаосе.

И все же ему удается отыскать здание оперного театра, где дают бал-маскарад. У него хватает денег, чтобы купить входной билет и взять напрокат домино, которое скроет его обноски. Кажется, всего миг назад вступил он в ворота чудесного города — а уже оказался в самой сердце разнужданного веселья.

Нет больше тьмы, нет одиночества, а есть буйная толпа, галдящая и пляшущая, и есть хорошенькая дебардерка* — повисла у него на локте.

* Обладательница дебардера — женского брючного карнавального костюма; аутентичное значение слова — портовый грузчик.

Ему весело, о как ему весело. По всем признакам, вернулось прежнее, легкое отношение к жизни. Вокруг говорят о каком-то пьяном студенте возмутительного поведения; он слышит голоса, он видит, что указывают на него, хотя он со вчерашнего дня губ не омочил и даже сейчас пить не станет, хотя губы сухи, а в горле пожар; он просто не может пить.

Он охрип, и трудно разобрать его слова, но отчаянно весел, и это потому, что вернулась былая беспечность.

Прелестница дебардерка явно утомилась — ее руки на его плечах тяжелее свинца. Прочие танцоры выбывают один за другим.

И одна за другою гаснут свечи в канделябрах.

И в мутной полумгле, которая не относится ни к ночи, ни ко дню, очень бледно выглядят гирлянды и прочие украшения.

Сквозь полуоткрытые ставни проникает полоска холодного серого света — это новорожденный день; умирающие огни уже еле мерцают.

И в этом свете прелестница тоже меркнет. Вот только что так ярки были ее глаза. Он смотрит ей в лицо, он наблюдает угасание этого блеска. Он все смотрит. Лицо бледнеет под его взглядом; оно совсем белое!

А теперь взгляд возвращает ему только тень лица.

А теперь нет ничего — ни блестящих глаз, ни лица, ни тени от лица. Он один, один в огромном зале.

Он один, и в чудовищной тишине слышит эхо собственных шагов, ибо втянут в жуткую пляску, которая длится без музыки.